**Жизнь и творчество О.Э.Мандельштама**

**ПЛАН.**

1. Первые творческие годы

* Мандельштам и акмеизм.
* Первая книга стихов.
* "Тристии" – вторая книга.
* Тема любви у Осипа Мандельштама.
* Восприятие Мандельштамом революции и гражданской войны.

1. Проза Мандельштама.
2. Возвращение к стихам.
3. Авторские вечера.
4. Эпиграмма на Сталина.

* Реакция современников.
* Чудо.

1. "Изолировать, но сохранить".

* "Но ведь он же мастер".
* Вымученная "ода Сталину".
* Перелом в душе поэта.
* Попытка оправдать вождя.

1. Воронеж.

* Любимые поэты Мандельштама.
* Любовь к искусству.
* Тревожный январь.

1. Конец благополучия.

* Полная изоляция.
* Второй арест Мандельштама.
* Гибель поэта.

В двадцатых числах октября 1938 года Осип Эмильевич Мандельштам писал брату Александру и жене Надежде Яковлевне: "Дорогой Шура! Я нахожусь – Владивосток, УСВИТЛ, 11 барак. Из Москвы из Бутырок этап 9 сентября, приехали 12 октября. Здоровье очень слабое, истощён до крайности, исхудал, не узнаваем почти, но посылать деньги, вещи и продукты – не знаю, есть ли смысл. Попробуйте всё-таки. Очень мёрзну без вещей…". Это, видимо, последние дошедшие до нас строки поэта. 27 декабря Осип Эмильевич Мандельштам умер в больничном в пересыльном лагере под Владивостоком. Ему было сорок семь лет. Меньше чем полвека отмерила ему судьба, но тридцать лет жизни он безраздельно посвятил поэзии. Никогда и ни в чём он не изменял своему призванию, поэт предпочитал позицию живущего вместе с людьми, создающего насущно необходимое людям. Наградой ему были гонения, нищета, наконец, гибель. Но оплаченные такой ценой стихи, в течение десятилетий не печатавшиеся, жестоко преследуемые остались жить – и теперь входят в наше сознание, как высокие образцы достоинства, силы человеческого гения.

Осип Эмильевич Мандельштам родился 3 (15) января 1891 года в Варшаве в семье коммерсанта, так и не сумевшего создать состояние. Но родным городом стал для Поэта Петербург: здесь он вырос, окончил одно из лучших в тогдашней России Тенишевское училище. Здесь он пережил революцию 1905 года. Она воспринималась как "слава века" и дело доблести. Первые два стихотворения Мандельштама, напечатанные в училищном журнале в 1907году – по стилю добросовестно народнические, по духу пламенно революционные: "Синие пики обнимутся с вилами и обагрятся в крови…"

К поэзии его толкнули уроки символиста В.В.Гипплуса, который читал в училище русскую словесность. Затем Мандельштам учился на романо-германском отделении филологического факультета университета. Вскоре после этого он покинул город на Неве. Мандельштам ещё будет возвращаться сюда, "в город знакомый до слёз, до прожилок, до детских припухших желез". Встречи со "столицей северной", "Петрополем прозрачным", где "каналов узкие пеналы подо льдом ещё черней", будут частыми в стихах, порождённых и чувством причастности своей судьбы к судьбе родного города, и приклонением перед его красотой.

В 1910 году становится бесспорным "кризис символизма" – исчерпанность политической системы. В1911 году молодые поэты из выучеников символизма, желая искать новые пути, образуют "Цех поэтов" – организацию под председательством Н. Гумилёва и С. Городецкого. В1912 году внутри Цеха поэтов образуется ядро из шести человек, назвавших себя акмеистами. Это были Н. Гумилёв, С. Городецкий, А. Ахматова, О. Мандельштам, М. Зенкевич и В. Нарбут. Более несхожих поэтов трудно было вообразить. Группа просуществовала два года и с началом мировой войны распалась; но Ахматова и Мандельштам продолжали ощущать себя "акмеистами" до конца дней, и у историков литературы слово "акмеизм" всё чаще стало означать совокупность обоих творческих особенностей именно этих двух поэтов.

Акмеизм для Мандельштама – "сообщничество сущих в заговоре против пустоты и небытия. Любите существование вещи больше самой вещи и своё бытие больше самих себя – вот высшая заповедь акмеизма". И второе – создание вечного искусства.

Осипу Эмильевичу было очень важно почувствовать себя в кругу единомышленников, хотя бы и очень узком. Он мелькал в Цехе поэтов на дискуссиях и выставках, в богемном подвале "Бродячая собака". Вскинутый хохол, торжественность, ребячливость, задор, бедность и постоянное житьё взаймы – таким он запомнился современникам. В 1913 году он печатает книжку стихов, в 1916 году она переиздаётся, расширенная вдвое. Из ранних стихов книгу вошла лишь малая часть – не о "вечности, а о милом и ничтожном". Книга вышла под заглавием "Камень". Архитектурные стихи – сердцевина мандельштамовского "Камня". Именно там акмеический идеал высказан как формула:

*Но чем внимательней, твердыня Notre-Dame,*

*Я изучал твои чудовищные рёбра,*

*Тем чаще думал я: из тяжести недоброй*

*И я когда-нибудь прекрасное создам.*

Последние стихотворения "Камня" писались уже в начале мировой войны. Как и все, Мандельштам встретил войну восторженно, как все, разочаровался через год.

Революцию он принял безоговорочно, связывая с ней представления о начале новой эры – эры утверждения социальной справедливости, подлинного обновления жизни.

*Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий*

*Скрипучий поворот руля.*

*Земля плывёт. Мужайтесь, мужики,*

*Как плугом, океан деля.*

*Мы будем помнить в житейской стуже,*

*Что десяти небес нам стоила земля.*

Зимой 1919 года открывается возможность поехать на менее голодный юг; он уезжает на полтора года. Первой поездке он посвятил потом очерки "Феодосия". По существу именно тогда решался для него вопрос: эмигрировать или не эмигрировать. Эмигрировать он не стал. А о тех, кто предпочёл эмиграцию, он писал в двусмысленном стихотворении "Где ночь бросает якоря…": "Куда летите вы? Зачем от древа жизни вы отпали? Вам чужд и страшен Вифлеем, И яслей вы не увидали…"

Весной 1922 года Мандельштам возвращается с юга и поселяется в Москве. С ним молодая жена, Надежда Яковлевна. Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна были совершенно неразделимы. Она была вровень своему мужу по уму, образованности, огромной душевной силе. Она, безусловно, являлась моральной опорой для Осипа Эмильевича. Тяжёлая трагическая его судьба стала и её судьбой. Этот крест она сама взяла на себя и несла его так, что, казалось, иначе и не могло быть. "Осип любил Надю невероятно и неправдоподобно", – говорила Анна Ахматова.

Осенью 1922 года в Берлине выходит маленькая книжка новых стихов "Тристии". (Мандельштам хотел назвать её "Новый камень".) В1923 году она переиздаётся в изменённом виде в Москве под заглавием "Вторая книга" (и с посвящением Наде Хазиной). Стихи "Тристий" резко непохожи на стихи "Камня". Это новая вторая поэтика Мандельштама.

В стихотворении "На розвальнях…" тема смерти вытеснила тему любви. В стихах о любимом голосе в телефоне ("Твоё чудесное произношение…") являются неожиданные строки: "пусть говорят: любовь крылата, – смерть окрылённее стократ". Тема смерти пришла к Мандельштаму тоже из собственного душевного опыта: в 1916 году умерла его мать. Просветляющий вывод лишь стихотворение "Сестры – тяжесть и нежность…": жизнь и смерть круговорот, роза рождается из земли и уходит в землю, а память о своём единичном существовании она оставляет в искусстве.

Но гораздо чаще и тревожнее пишет Мандельштам не о смерти человека, а о смерти государства. Эта поэтика была откликом на катастрофические события войны и революции. Три произведения подводят итог этому революционному периоду творчества Мандельштама – три и ещё одно. Прологом служит маленькое стихотворение "Век":

*Век мой, зверь мой, кто сумеет*

*Заглянуть в твои зрачки*

*И своею кровью склеит*

*Двух столетий позвонки?*

Веку перебили спинной хребет, связь времён прервана, и это грозит гибелью не только старому веку, но и новорожденному.

Из современников Мандельштама, может быть, один только Андрей Платонов мог уже тогда столь же остро ощутить трагедию эпохи, когда котлован, что готовился под строительство величественного здания социализма, становился для многих работающих там могилой. Среди поэтов Мандельштам был едва ли не единственным, кто так рано смог рассмотреть опасность, угрожающую человеку, которого без остатка подчиняет себе время. "Мне на плечи кидается век-волкодав, Но чем же не волк я по крови своей…" Что же в эту эпоху происходит с человеком? Отделять свою судьбу от судьбы народа, страны, наконец, от судеб современников Осип Эмильевич не хотел. Он твердил об этом настойчиво и громко:

*Пора вам знать: я тоже современник,*

*Я человек эпохи Москвошвея,*

*Смотрите, как на мне топорщится пиджак,*

*Как я ступать и говорить умею!*

*Попробуйте меня от века оторвать! –*

*Ручаюсь вам, себе свернёте шею!*

В жизни Мандельштам не был ни борцом, ни бойцом. Ему ведомы были обычные человеческие чувства, и среди них – чувство страха. Но, как подметил умный и ядовитый В. Ходасевич, в поэте уживалась "заячья трусость с мужеством почти героическим". Что касается стихов, то в них обнаруживается лишь то свойство натуры поэта, что названо последним. Поэт не был мужественным человеком в расхожем смысле слова, но упорно твердил:

*Чур! Не просить, не жаловаться! Цыц!*

*Не хныкать!*

*Для того ли разночинцы*

*Рассохлые топтали сапоги, чтоб я теперь их предал?*

*Мы умрём, как пехотинцы,*

*Но не прославим ни хищи, ни поденщины, ни лжи!*

Однако тщетно искать в поэзии Мандельштама единообразное отношение к событиям 17-го года. Да и вообще, определённые политические мнения встречаются у поэтов редко: они воспринимают реальность слишком по-своему, особым чутьём. Мандельштам считал противоречивость непременным свойством лирики.

Между 1917 и 1925 годами мы можем расслышать в поэзии Мандельштама несколько противоречивых голосов: тут и роковые предчувствия, и мужественное приятие "скрипучего руля", и всё более щемящая тоска по ушедшему времени и золотому веку.

В первом стихотворении, навеянном февральскими событиями, Мандельштам прибегает к посредству исторического символа: коллективный портрет декабриста, соединяющий черты античного героя, немецкого романтика и русского барина, несомненно, дань бескровной революции:

*Тому свидетельство языческий Сенат –*

*Сии дела не умирают.*

Но уже проскальзывает беспокойство за будущее:

*Ещё волнуются живые голоса*

*О сладкой вольности гражданства!*

*Но жертвы не хотят слепые небеса:*

*Вернее труд и постоянство.*

Этому тревожному чувству было суждено вскоре оправдаться. Гибель эсера, комиссара Линде, убитого толпой взбунтовавшихся казаков, вдохновила Мандельштама на гневные стихи, где "октябрьскому времёнщику" Ленину, готовящему "ярмо насилия и злобы", противопоставляются образы чистых героев – Керенского (Уподобленного Христу!) и Линде, "свободного гражданина, которого вела Психия".

*И если для других восторженный народ*

*Венки сбивает золотые –*

*Благославить тебя в далёкий ад сойдёт*

*Столпами лёгкими Россия.*

Ахматова, в отличие от большинства поэтов, ни на минуту не соблазнилась опьянением свободы: за "весёлым, огненным мартом" (З. Гиппиус) она предчувствовала роковой исход похме лья. Обращаясь к современной Касандре, Мандельштам восклицает:

*И в декабре семнадцатого года*

*Всё потеряли мы, любя… –*

И, в свою очередь, становясь глашатаем бедствий, предрекает будущую трагическую судьбу "царскосельской весёлой грешнице":

*Когда-нибудь в столице малой,*

*На скифском празднике, на берегу Невы,*

*При звуках омерзительного бала*

*Сорвут платок с прекрасной головы.*

Мандельштам отказывается от пассивного восприятия революции: он как бы даёт на неё согласие, но без иллюзий. Политическая тональность – впрочем у Мандельштама она всегда меняется. Ленин уже не "октябрьский времёнщик", а "народный вождь, который в слезах берёт на себя роковое бремя" власти. Ода служит продолжением плачу над Петербургом, она воспроизводит динамический образ идущего ко дну корабля, но и ему отвечает. По примеру пушкинского "Пира во время чумы" поэт строит своё стихотворение на контрасте немыслимого прославления:

*Прославим, братья, сумерки свободы, –*

*Великий сумеречный год.*

*Прославим власти сумеречное бремя,*

*Её невыносимый гнёт.*

Прославляется непрославимое. Встающее солнце невидимо: оно скрыто ласточками, связанными "в легионы боевые", "лес тенёт" обозначает упразднение свобод. Центральный образ "корабля времени" – двойственен, он идёт ко дну, в то время как земля продолжает плыть. Мандельштам принимает "огромный неуклюжий, скрипучий поворот руля" из "сострадания к государству", как он объяснит впоследствии, из солидарности с этой землёй, когда бы её спасение стоило бы "десяти небес".

Несмотря на эту двойственность и неясность, ода вносит новое измерение в русскую поэзию: активное отношение к миру независимо от политической установки.

Сведя этот расчёт со временем, замолкает: после "1 января" – за два года четыре стихотворения, а потом пятилетнее молчание. Он переходит на прозу: в 1925 году появляются воспоминания "Шум времени" и "Феодосия" (тоже сведение счётов со временем), в 1928 году – повесть "Египетская марка". Стиль этой прозы продолжает стиль стихов: такая же кратность, такая же предельная образная нагрузка каждого слова.

С 1924 года поэт живёт в Ленинграде, с 1928 года – в Москве. На жизнь приходится зарабатывать переводами: 19 книг за 6 лет, не считая редактур. Пытаясь спастись от этой обессиливающей работы, он уходит работать в газету "Московский комсомолец". Но оказывается ещё тяжелее.

С возвращением к стихам Мандельштам вернул себе чувство личной значимости. Зимой 1932-33 годов прошло несколько его авторских вечеров, "старая интеллигенция" принимала его с почётом; Пастернак говорил: "Я завидую вашей свободе". За десять лет Осип Эмильевич очень постарел и молодым слушателям казался "седобородым патриархом". С помощью Бухарина он получает пенсию и заключает договор на двухтомное собрание сочинений (которого так и не вышло).

Но это только подчёркивало его несовместимость с тоталитарным режимом в литературе. Редкая удача – получение квартиры – вызывает у него порыв к некрасовскому бунту, потому что квартиры дают только приспособленцам. Нервы его все в напряжении, в стихах сталкиваются "до смерти хочется жить" и "я не знаю, зачем я живу", он говорит: "теперь каждое стихотворение пишется так, будто завтра смерть". Но он помнит: смерть художника есть "высший акт его творчества", об этом он писал когда-то в "Скрябине и христианстве". Толчком послужило стечение трёх обстоятельств 1933 года. Летом в Старом Крыму он видел моровой голод, последствие коллективизации, и это всколыхнуло эсеровское народолюбие.

Теперь, в ноябре 1933 года Осип Мандельштам написал небольшое, но смелое стихотворение, с которого начался его мученический путь по ссылкам и лагерям.

*Мы живём, под собою не чуя страны,*

*Наши речи за десять шагов не слышны,*

*А где хватит на полразговорца, –*

*Там припомнят кремлёвского горца*

*Его толстые пальцы, как червы, жирны,*

*А слова, как пудовые гири верны.*

*Тараканьи смеются усища,*

*И сияют его голенища.*

*А вокруг его сброд тонкошеих вождей,*

*Он играет услугами полулюдей.*

*Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,*

*Он один лишь бабачит и тычит.*

*Как подковы куст за указом указ –*

*Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.*

*Что ни казнь у него, – то малина*

*И широкая грудь осетина.*

Эту эпиграмму на Сталина читает он под великим секретом не менее, чем четырнадцати лицам. "Это самоубийство", – сказал ему Пастернак и был прав. Это был добровольный выбор смерти. Анна Ахматова на всю жизнь запомнила, как Мандельштам вскоре после этого сказал ей: "Я к смерти готов". В ночь с 13 на 14 мая Осип Эмильевич был арестован.

Друзья и близкие поэта поняли, что надеяться не на что. Осип Мандельштам говорил, что с момента ареста он всё время готовился к расстрелу: "Ведь это у нас случается и по меньшим поводам". Следователь прямо угрожал расстрелом не только ему, но и всем сообщникам. (Т.е. тем, кому Мандельштам прочёл стихотворение).

И вдруг произошло чудо.

Мандельштама не только не расстреляли, но даже не послали "на канал". Он отделался сравнительно лёгкой ссылкой в Чердынь, куда вместе с ним разрешили выехать его жене. А вскоре и эта ссылка была отменена. Мандельштамам было разрешено поселиться где угодно, кроме двенадцати крупнейших городов. Осип Эмильевич и Надежда Константиновна наугад назвали Воронеж.

Причиной "чуда" была фраза Сталина: "Изолировать, но сохранить".

Надежда Яковлевна считает, что тут возымели своё действие хлопоты Бухарина. Получив записку от Бухарина, Сталин позвонил Пастернаку. Сталин хотел получить от него квалифицированное заключение о реальной ценности поэта Осипа Мандельштама. Он хотел узнать, как котируется Мандельштам на поэтической бирже, как ценится он в своей профессиональной среде.

Мандельштам говорит жене: "Поэзию уважают только у нас. За неё убивают. Только у нас. Больше нигде…"

Уважение Сталина к поэтам проявлялось не только в том, что поэтов убивали. Он прекрасно понимал, что мнение о нём потомков во многом будет зависеть от того, что о нём пишут поэты.

Узнав, что Мандельштам считается крупным поэтом, он решил до поры до времени его не убивать. Он понимал, что убийством поэта действие стихов не остановишь. Убить поэта – пустяки. Сталин был умнее. Он хотел заставить Мандельштама написать другие стихи. Стихи, возвеличивающие Сталина.

Стихи, возвеличивающие Сталина, писали многие поэты. Но Сталину было нужно, чтобы его воспел именно Мандельштам.

Потому что Мандельштам был "чужой". Мнение "чужих" было для Сталина очень высоко. Будучи сам неудавшимся стихотворцем, в этой области Сталин особенно безотчётно готов был прислушаться к мнению авторитетов. Не зря он так настойчиво домогался у Пастернака: "Но ведь он же мастер? Мастер?" В ответе на этот вопрос для него было всё. Крупный поэт – это значило крупный мастер. А если мастер, значит, сможет возвеличить "на том же уровне мастерства", что и разоблачал.

Мандельштам понял намерения Сталина. Доведённый до отчаяния, загнанный в угол, он решил попробовать спасти жизнь ценой нескольких вымученных строк. Он решил написать ожидаемую от него "оду Сталину".

Вот как вспоминает об этом Надежда Яковлевна: "У окна в портнихиной комнате стоял квадратный стол, служивший для всего на свете. Осип, прежде всего, завладел столом и разложил стихи и бумагу… Для него это было необычайным поступком – ведь стихи он сочинял с голоса и в бумаге нуждался только в самом конце работы. Каждое утро он садился за стол и брал в руки карандаш: писатель как писатель… Но не проходило и получаса, как он вскакивал и начинал проклинать себя за отсутствие мастерства".

В результате явилась на свет долгожданная "Ода", завершающаяся такой торжественной концовкой:

*И шестикратно я в сознаньи берегу*

*Свидетель медленный труда, борьбы и жатвы,*

*Его огромный путь через тайгу*

*И ленинский октябрь – до выполненной клятвы.*

…………………………………………………………

*Правдивей правды нет, чем искренность бойца:*

*Для чести и любви, для доблести и стали.*

*Есть имя славное для сильных губ чтеца –*

*Его мы слышим и мы его застали.*

Казалось бы, расчёт Сталина полностью оправдался. Стихи были написаны. Теперь Мандельштама можно было убить. Но Сталин ошибся.

Мандельштам написал стихи, возвеличивающие Сталина. И тем не менее план Сталина потерпел полный крах. Чтобы написать такие стихи, не надо было быт Мандельштамом. Чтобы получить такие стихи, не стоило вести всю эту сложную игру.

Мандельштам не был мастером. Он был поэтом. Он ткал свою поэтическую ткань не из слов. Этого он не умел. Его стихи были сотканы из другого материала.

Невольная свидетельница рождения едва ли не всех его стихов (невольная, потому что у Мандельштама никогда не было ни то что "кабинета", но даже кухоньки, каморки, где он мог бы уединиться). Надежда Яковлевна свидетельствует:

"Стихи начинаются так: в углах звучит назойливая, сначала неоформленная, а потом точная, но ещё бессловесная музыкальная фраза. Мне не раз приходилось видеть, как Осип пытается избавиться от прв, стряхнуть её, уйти. Он мотал головой, словно её можно выплеснуть, как каплю воды, попавшую в ухо во время купания. У меня создалось впечатление, что стихи существуют до того, как они сочинены. (Осип Мандельштам никогда не говорил, что стихи "написаны". Он сначала "сочинял", потом записывал.) Весь процесс сочинения состоит в напряжённом улавливании и проявлении уже существующего и неизвестно откуда трансформирующегося гармонического и смыслового единства, постепенно воплощающегося в слова."

Попытаться написать стихи, прославляющие Сталина, – это значило для Мандельштама прежде всего найти где-то на самом дне своей души хоть какую-то точку опоры для этого чувства.

В "Оде" не сплошь мёртвые, безликие строки. Попадаются и такие, где попытка прославления как будто бы даже удалась:

*Он свесился с трибуны как с горы*

*В бугры голов. Должник сильнее иска.*

*Могучие глаза решительно добры,*

*Густая бровь кому-то светит близко…*

Строки эти кажутся живыми, потому что к их мёртвому острову сделана искусственная прививка живой плоти. Этот крошечный кусочек живой ткани – словосочетание "бугры голов". Надежда Яковлевна вспоминает, что, мучительно пытаясь сочинить "Оду", Мандельштам повторял: "Почему, когда я думаю о нём, передо мной всё головы, бугры голов? Что он делает с этими головами?" Изо всех сил стараясь убедить себя, что он делает с "ними" не то, что ему мерещилось, а нечто противоположное, т.е. доброе, Мандельштам невольно срывается на крик:

*Могучие глаза решительно добры…*

"Ода" была не единственной попыткой вымученного, искусственного прославления "отца народов".

В 1937 году там же, в Воронеже, Мандельштам написал стихотворение "Если б меня наши враги взяли…", завершающееся такой концовкой:

*И промелькнёт пламенных лет стая,*

*Прошелестит спелой грозой – Ленин,*

*Но на земле, что избежит тленья,*

*Будет будить разум и жизнь – Сталин.*

Существует версия, согласно которой у Мандельштама был другой, противоположный по смыслу вариант последней, концовочной строчки:

*Будет губить разум и жизнь – Сталин.*

Можно не сомневаться, что именно этот вариант отражал истинное представление поэта о том, какую роль в жизни его родины играл тот, кого он уже однажды назвал "душегубцем".

Конечно, Сталин не без основания считал себя крупнейшим специалистом по вопросам "жизни и смерти". Он знал, что сломать можно любого человека, даже самого сильного. А Мандельштам вовсе не принадлежал к числу самых сильных.

Но Сталин не знал, что сломать человека – это ещё не значит сломать поэта. Он не знал. Что поэта легче убить, чем заставить его воспевать то, что ему враждебно. После неудавшейся попытки Мандельштама сочинить оду Сталину прошёл месяц. И тут произошло нечто поразительное – на свет явилось стихотворение:

*Среди народного шума и спеха*

*На вокзалах и площадях*

*Смотрит века могучая веха,*

*И бровей начинается взмах.*

*Я узнал, он узнал, ты узнала –*

*А теперь куда хочешь влеки:*

*В говорливые дебри вокзала,*

*В ожиданье у мощной реки.*

*Далеко теперь та стоянка,*

*Тот с водою кипячёной бак –*

*На цепочке книжка-жестянка*

*И глаза застилавший мрак.*

*Шла пермяцкого говора сила,*

*Пассажирская сила борьба,*

*И ласкала меня и сверлила*

*От стены этих глаз журьба.*

*……………………………………*

*Не припомнить того, что было –*

*Губы жарки, слова черствы –*

*Занавеску белую било,*

*Нёся шум железной листвы.*

*……………………………………*

*И к нему – в его сердцевину –*

*Я без пропуска в Кремль вошёл,*

*Разорвав расстояний холстину,*

*Головою повинной тяжёл.*

Как небо от земли отличаются они от тех казенно-прославляющих рифмованных строк, которые Мандельштам так трудно выдавливал из себя, завидуя Асееву, который в отличие от него был "мастер".

На этот раз стихи вышли совсем другие: обжигающие искренностью, несомненностью выраженного в них чувства.

Неужели Сталин в своих предположениях всё-таки был прав? Неужели он лучше, чем кто другой, знал меру прочности человеческой души и имел все основания не сомневаться в результатах своего эксперимента?

Решив до поры до времени не расстреливать Мандельштама, приказав его "изолировать, но сохранить", Сталин, конечно, знать не знал ни о каком искусственном замутнении каких-то неведомых ему источников гармонии.

Для того, чтобы попытка прославления Сталина ему удалась, у такого поэта, как Мандельштам, мог быть только один путь: это попытка должна была быть искренней. Точкой опоры для мало-мальски искренней попытки примирения с реальностью сталинского режима для Мандельштама могло быть одно только чувство: надежда.

Если бы это была только надежда на перемены в его личной судьбе, тут ещё не было бы самообмана. Но, по самой природе своей души озабоченный не только личной своей судьбой, поэт пытается выразить некие общественные надежды. И тут-то и начинается самообман, самоуговаривание.

Когда-то давным-давно (в статье 1913 года) Мандельштам написал, что поэт ни при каких обстоятельствах не должен оправдываться. Это, говорил он "… непростительно! Недопустимо для поэта! Единственное, что нельзя простить! Ведь поэзия есть сознание своей правоты." О. Мандельштам открыто провозглашал готовность принять мученический венец "за гремучую доблесть грядущих веков, за высокое племя людей." Демонстративно славил он всё то, что у него никогда не было, лишь бы утвердить свою непричастность, свою до конца осознанную враждебность "веку-волкодаву".

Для Пастернака петровская дыба, призрак которой неожиданно воскрес в ХХ веке, была всего лишь нравственной преградой на пути духовного развития. Вопрос стоял так: имеет ли он моральное право через эту преграду переступить? Ведь и кровь и грязь – всё это окупится будущим богатством, "счастьем сотен тысяч"!

Душе Мандельштама плохо давались эти резоны, потому что в качестве объекта пыток и казней он неизменно пророчески видел себя.

*Я на лестнице чёрной живу, и в висок*

*Ударяет мне вырванный с мясом звонок.*

*И всю ночь напролёт жду гостей дорогих,*

*Шевеля кандалами цепочек дверных.*

Ещё страшнее было то, что несло гибель его душе, делу его жизни, поэзии. Может ли найтись для поэта перспектива более жуткая, чем "присевших на школьной скамейке учить щебетать палачей". Мандельштам не хотел быть "как все". И тем не менее, как это не парадоксально, в какой-то момент он тоже захотел "туда со всеми сообща". Вопреки всегдашней трезвости и безыллюзности он даже ещё острее, чем Пастернак, готов был ощутить в своём сердце любовь и нежность к жизни, прежде ему чужой. Потому что из этой жизни его насильственно выкинули. Осознав, что его лишили права чувствовать себя "советским человеком", Мандельштам вдруг с ужасом ощутил это как потерю. Чувство это было реальное. И он ухватился за него, как утопающий за соломинку. Он ещё не понимал. Что с ним произошло. Он думал, что он – всё тот же несломленный. А "блестящий расчёт" тем временем уже давал в его душе первые всходы. И губы лепили уже совсем другие слова:

*Да, я лежу в земле, губами шевеля,*

*Но то, что я скажу, заучит каждый школьник:*

*На Красной площади всего круглей земля*

*И скат её твердеет добровольный…*

Сталинская тюрьма (или ссылка) представляла особый случай. Здесь сам факт насильственного изъятия из жизни сразу отнимал у заключённого право на сочувствие. Отнимал даже право на жалость. Мандельштам столкнулся с этим по дороге в Чердынь, сразу же после ареста. Мандельштам с ужасом ощутил, что фактом ареста его обрекали на полное, абсолютное отщепенство.

А межд тем жизнь продолжалась. Люди смеялись и плакали, любили. В Москве строили метро.

*Ну, как метро? Молчи, в себе тая,*

*Не спрашивай, как набухают почки…*

*А вы, часов кремлёвские бои –*

*Язык пространства, сжатого до точки.*

Надежда Яковлевна считает эти настроения последствиями травматического психоза, который Осип Эмильевич перенёс вскоре после ареста. Болезнь была очень тяжёлой, с бредом, галлюцинациями, с попыткой самоубийства. У Осипа Эмильевича время от времени возникали желания примириться с действительностью и найти её оправдание. Это происходило вспышками и сопровождалось нервным состоянием. Очень трудно человеку жить с сознанием, что вся рота шагает не в ногу и один только он, злополучный прапорщик, знает истину. Особенно если "рота" эта – весь многомиллионный народ. Остаться вне народа всегда было для него страшней, чем остаться вне истины. Вот почему этот жупел – "враг народа" – действовал на душу русского интеллигента так безошибочно и так страшно. Хуже всего было то, что и народ поверил в эту формулу, принял и бессознательно её узаконил.

Настоящее было фундаментом, на котором возводилось прекрасное завтра. Ощутить себя чужим сталинскому настоящему значило вычеркнуть себя не только из жизни, но и из памяти потомства. Вот почему Мандельштам не выдержал. Из последних сил пытается убедить себя в том, что прав был тот "строитель чудотворный", а он, Мандельштам заблуждался.

*И не ограблен я и не надломлен,*

*Но только что всего переогромлен –*

*Как Слово о полку, струна моя туга,*

*И в голосе моём после удушья*

*Звучит земля – последнее оружье –*

*Сухая влажность чернозёмных га.*

Ограбленный и надломленный, он пытается уверить себя в обратном. С ним случилось худшее. Он утратил сознание своей правоты. Резиновая дубинка сталинского государства ударила Мандельштама в самое больное место: в совесть. Всё шло к тому, чтобы неясный комплекс вины терзавший душу поэта, принял чёткие о определённые очертания вины перед Сталиным. Сталин говорил от имени вечности, от имени истории, от имени народа. Всё мгновенно изменилось, едва только была задета совесть Мандельштама. Случилось это "средь народного шума и спеха на вокзалах и площадях", там, где "шла пермяцкого говора сила, пассажирская шла борьба…" Дело тут было уже не в самом Сталине, не в низкорослом, низколобом горце с жирными пальцами, а в его идеальных чертах, в его облике, в его портрете, который вся эта голодная, нищая толпа вобрала в свою душу, приняла и узаконила так же бессознательно, как она приняла и узаконила словосочетание "враг народа".

Чувство смежности со страной, с её многомиллионным народом было таким мощным, таким всепоглощающим, что оно незаметно перевернуло, поставило с ног на голову все представления Мандельштама об истине, всю его вселенную:

*Моя страна со мною говорила,*

*Мирволила, журила, не прочла,*

*Но возмущавшего меня, как очевидца,*

*Заметила – и вдруг, как чечевица,*

*Адмиралтейским лучиком зажгла.*

Страну, бывшую для него прежде некой абстракцией, он вдруг увидел воочию, приобщился к ней, к её повседневной жизни, пил с нею из одной кружки. И сквозь дальность её расстояний, сквозь эти орущие, спешащие куда-то толпы людей, сквозь это великое переселение народов он вдруг, как сквозь гигантскую стеклянную чечевицу, заново увидел крохотный лучик адмиралтейской иглы.

Когда-то, до ареста Мандельштама устрашала мысль о неизбежном конце петербургского периода русской истории. Душа его не могла смириться с концом Санкт-Петербурга, города "Медного Всадника" и "Белых ночей". И вдруг, в далёкой дали от прежней своей жизни, средь "народного шума и спеха", Мандельштаму показалось, что петербургский период русской истории продолжается. Лучик Петровского адмиралтейства не угас, он вошёл составной частью в этот кровавый пожар. Мандельштам инстинктивно ухватился за эту надежду, как за последнюю возможность спасения.

Принять её – значило признать, что "душегубец и мужикоборец" прав, что он воистину "строитель чудотворный". Но не принять было ещё страшней: ведь это означало "выпасть" из истории, остаться в стороне от этого "народного шума и спеха", от великого исторического дела.

На заседании, посвящённом 84-й годовщине смерти Пушкина, где Блок говорил о назначении поэта, Владислав Ходасевич высказал предположение, что желание ежегодно отмечать пушкинскую годовщину рождено предчувствием надвигающейся непроглядной тьмы. "Это не мы уславливаемся, – сказал он, – каким именем нам аукаться, как нам перекликаться в надвигающемся мраке".

Мандельштаму не оставили даже этого. Его убедили, что даже Пушкин принадлежит не ему, а его конвоирам.

*На вершок бы мне синего моря, на игольное только ушко,*

*Чтобы двойка конвойного времени парусами неслась, хорошо.*

*Сухомятная русская сказка. Деревянная ложка – ау!*

*Где вы, трое славных ребят из железных ворот ГПУ?*

*Чтобы Пушкина чудный товар не пошёл по рукам дармоедов,*

*Грамотеет в шинелях с наганами племя пушкиноведов –*

*Молодые любители белозубых стишков,*

*На вершок бы мне синего моря, на игольное только ушко!*

Тот самый Мандельштам, который сопротивлялся дольше всех, который ни за что на свет не соглашался "присевших на школьной скамье учить щебетать палачей", испытал вдруг потребность вступить со своими палачами в духовный контакт. Захотев, подобно Ходасевичу, аукнуться с кем-нибудь в надвигающемся мраке, он не нашёл ничего лучшего, как крикнуть "ау!" трём славным ребятам из "железных ворот ГПУ".

У него отняли всё, не оставив ни малейшей зацепки, ни даже крохотного островка, где он мог бы утвердить своё не тронутое, не уничтоженное сознание. Единственное, за что ещё мог ухватиться, – было вот это, вновь нажитое: летящая по ветру белая занавеска, кружка-жестянка, "тот с водой кипячёной бак". И можно ли его упрекать в том, что он вцепился в эту занавеску, как в последнюю ниточку, связывающую его с жизнью?

В стихах Мандельштама о его вине перед Сталиным ("И ласкала меня, и сверлила от стены этих глаз журьба"), при всей их искренности, почти неощутима связь этого конкретного чувства с самыми основами личности художника. Как будто все прежние его жизненные впечатления, знакомые нам "до прожилок, до детских припухших желёз", были стёрты до основания. В известном смысле эти искренние стихи Мандельштама свидетельствуют против Сталина даже сильнее чем те, написанные под прямым нажимом. Они свидетельствуют о вторжении сталинской машины в самую душу поэта. Мандельштама держали в Воронеже как заложника. Взяв его в этом качестве, Сталин хотел продиктовать свои условия самой вечности. Он хотел, чтобы перед судом далёких потомков загнанный, затравленный поэт выступил свидетелем его, Сталина, исторической правоты.

Что говорить! Он многого добился, расчетливый кремлёвский горец. В его расположении были армия и флот, и Лубянка, и самая совершенная в мире машина психологического воздействия, официально именуемая морально-политическим единством советского народа. А всему этому противостояла такая малость – слабая, раздавленная, кровоточащая человеческая душа.

Но главная победа сталинского государства над душой художника была достигнута почти без применения грубой силы. Заложника вечности убедили в том, что нет и никогда больше не будет другой вечности, кроме той, от имени которой говорил Сталин.

По приговору, вынесенному без суда, поэт был лишён элементарных человеческих прав, обречён на положение ссыльного. К тому же – лишённого средств к существованию, перебивающегося случайными заработками в газете, на радио, живущего на скудную помощь друзей. "Я по природе своей ожидальщик. Оттого мне здесь ещё труднее", – говорил он в Воронеже А. Ахматовой.

И, однако, Воронеж он полюбил: здесь ещё ощущался вольный дух российских окраин, здесь взору открывались просторы родной земли:

*Как на лемех приятен жирный пласт,*

*Как степь молчит в апрельском повороте…*

*А небо, небо – твой Буонаротти!"*

Имя гениального итальянского архитектора, скульптора и живописца естественно возникает в стихе: прикованный к месту своей ссылки, поэт с особой остротой ощущает, как велик и прекрасен мир, в котором живёт человек. Стоит подчеркнуть: живёт в мире, столь же родном для него, как родимый дом, город, наконец, страна:

*Где больше неба мне – там я бродить готов,*

*И ясная тоска меня не отпускает*

*От молодых ещё воронежских холмов*

*К всечеловеческим – яснеющим в Тоскане.*

Купленные в Воронеже простые школьные тетради заполнялись быстро ложившимися строками стихов. Толчком для их возникновения становились подробности окружавшей поэта жизни. В стихах этих открывалась человеческая судьба: страдания, тоска, желание быть услышанным людьми. Но не только это: горизонты здесь стремительно раздвигались, поэту оказывались подвластны даже пространство и время. Воронежские "…переулков лающие чулки И улиц перекошенных чуланы", "обледенелая водокачка", по прихоти воображения замещаются иными петербургскими видениями ("Слышу, слышу ранний лёд, Шелестящий под мостами, Вспоминаю, как плывёт Светлый хмель над головами"), которые в свою очередь, заставляют вспомнить о Флоренции, воспетой великим Данте.

Когда Мандельштам сочинял стихотворение, ему казалось, что мир обновился. Он читал его друзьям, знакомым – кто подвернётся. Он вёл стихи как мелодию – от форте к пиано, с повышениями и понижениями. Надежда Яковлевна знала наизусть все воронежские стихи. Осип Эмильевич читал стихи превосходно. У него был очень красивый тембр голоса. Читал он энергично, без тени слащавости и подвывания, подчёркивая ритмическую сторону стихотворения. Однажды Осип Эмильевич написал новые стихи, состояние у него было возбуждённое. Он кинулся через дорогу от дома к городскому автомату, набрал какой-то номер и начал читать стихи, затем кому-то гневно закричал: "Нет, слушайте, мне больше некому читать!". Оказалось, он читал следователю НКВД, к которому был прикреплён. Мандельштам всегда оставался самим собой, его бескомпромиссность была абсолютной. Об этом пишет и Анна Ахматова: "В Воронеже его с не очень чистыми побуждениям заставили прочесть доклад об акмеизме. Он ответил: "Я не отрекаюсь ни от живых, ни от мёртвых". (Говоря о мёртвых, Осип Эмильевич имел в виду Гумилева). А на вопрос, что такое акмеизм, Мандельштам ответил: "Тоска по мировой культуре".

В Воронеже Мандельштамы переехали вскоре на другую квартиру. В маленьком одноэтажном домике они снимали комнату у театральной портнихи. Удобств никаких не было, отопление печное. Убранством комната мало отличалась от прежней: две кровати, стол, какой-то нелепый длинный чёрный шкаф и старая, обитая дермантином кушетка. Так как стол был единственным, то на нем лежали и книги, и бумаги, дымковские игрушки и кое-какая посуда. В шкафу хранились те немногие книги, с которыми Осип Эмильевич не расставался. Он часто читал стихи своих любимых поэтов: Данте, Петрарку, Клейста. Одним из любимых русских поэтов Мандельштама был Батюшков. В чудесном стихотворении "Батюшков", написанном Мандельштамом ещё в 1932 году, он говорит о нём как о современнике, ощущая его присутствие:

*Словно гуляка с волшебною тростью,*

*Батюшков нежный со мною живёт.*

*Он тополями шагает в замостье,*

*Нюхает розу и Дафну поёт.*

*Ни на минуту не веря в разлуку,*

*Кажется, я поклонился ему.*

*В светлой перчатке холодную руку*

*Я с лихорадочной завистью жму…*

Это и понятно, учителями Батюшкова были Тассо, Петрарка. Пластика, скульптурность и в особенности не слыханное у нас до него благозвучие, "итальянская гармония стиха", – всё это, конечно, очень близко Мандельштаму. Из современников он больше всех ценил Пастернака, которого постоянно вспоминал. В новогоднем письме Осип Эмильевич писал Пастернаку: "Дорогой Борис Леонидович. Когда вспоминаешь весь великий объём вашей жизненной работы, весь её несравненный охват – для благодарности не найдёшь слов. Я хочу, чтобы ваша поэзия, которой мы все избалованы и незаслуженно задарены, – рвалась дальше к миру, к народу, к детям.… Хоть раз в жизни позвольте сказать вам: спасибо за всё и за то, что это "всё" – ещё не "всё".

Наталья Штемпель вспоминает: " Я хорошо помню первое впечатление, которое произвёл на меня Осип Эмильевич. Лицо нервное, выражение часто самоуглублённое, внутренне сосредоточенное, голова несколько закинута назад, очень прямой, почти с военной выправкой, и это настолько бросалось в глаза, что как-то мальчишки крикнули: "Генерал идёт!". Среднего роста, в руках неизменная палка, на которую он никогда не опирался, она просто висела на руке и почему-то шла ему, и старый, редко глаженный костюм, выглядевший на нём элегантно. Вид независимый и непринуждённый. Он, безусловно, останавливал на себе внимание – он был рождён поэтом, другого о нём ничего нельзя было сказать. Казался он значительно старше своих лет. У меня всегда было ощущение, что таких людей как он нет". Мандельштам никогда на обстоятельства, условия жизни. Прекрасно он сказал об этом:

*Ещё не умер ты, ещё ты не один,*

*Покуда с нищенкой подругой*

*Ты наслаждаешься величием равнин,*

*И мглой, и холодом, и вьюгой.*

*В роскошной бедности, в могучей нищете*

*Живи спокоен и утишен, –*

*Благословенны дни и ночи те,*

*И сладкогласный труд безгрешен.*

У него не было мелких повседневных желаний, какие бывают у всех. Мандельштам и, допустим, машина, дача – совершенно несовместимо. Но он был богат, богат, как сказочный король: и "равнины дышащее чудо", и чернозём "в апрельском провороте", и земля, "мать подснежников, клёнов, дубков", – всё принадлежало ему.

*Где больше неба мне – там я бродить готов,*

*И ясная тоска меня не отпускает*

*От молодых ещё, воронежских холмов –*

*К всечеловеческим, яснеющим в Тоскане.*

Он мог остановиться зачарованный перед корзиной весенних лиловых ирисов и мольбой в голосе попросить: "Надюша, купи!" А когда Надежда Яковлевна начинала отбирать отдельные цветы, с горечью воскликнуть: "Всё или ничего!" "Но у нас ведь нет денег, Ося", – напоминала она.

Так и не были куплены ирисы. Что-то детски трогательное было в этом эпизоде. Очень любил Осип Эмильевич живопись, об этом говорят его стихи – "Импрессионизм" и воронежские: "Улыбнись, ягнёнок гневный с Рафаэлева холста…" или "Как светотени мученик Рембрандт…". Надежда Яковлевна считала, что в "Рембрандте" Мандельштам говорит о себе ("резкость моего горящего ребра") и о своей голгофе, "лишённой всякого величия".

Стихотворение "Улыбнись, ягнёнок гневный…" Пастернак назвал перлом. Что послужило поводом к его созданию, какие именно реалии, сказать трудно. В воронежском музее картин Рафаэля нет. Быть может, по какой-то ассоциации Мандельштам вспомнил репродукцию с картины Рафаэля "Мадонна с ягнёнком". Там есть и ягнёнок, и "складки бурного покоя" на коленях преклонённой Мадонны, и пейзаж, и какой-то удивительной голубизны общий фон картины. Как правило, Мандельштам в своих стихах был точен.

Восторгался Осип Эмильевич иллюстрациями Делакруа к гётевскому "Фаусту". Бывал он также и на симфонических концертах воронежского оркестра и особенно на сольных, когда кто-нибудь из известных скрипачей или пианистов приезжал из Москвы и Ленинграда. Музыку Мандельштам, пожалуй, любил больше всего. Не случайно после концерта скрипачки Галины Бариновой он написал и послал ей стихотворение "За Паганини длиннопалым…". В нём Осип Эмильевич непосредственно обращается к ней:

*Девчонка, выскочка, гордячка,*

*Чей звук широк как Енисей,*

*Утешь меня игрой своей, –*

*На голове твоей, полячка,*

*Марины Мнишек холм кудрей,*

*Смычок твой мнителен, скрипачка…*

Помимо концертов Осип Эмильевич с удовольствием бывал и в кино. Оно привлекало его и раньше. Он написал несколько интересных кинорецензий. В одной из них Мандельштам написал: "Чем совершеннее киноязык, тем ближе он к тому ещё не осуществлённому мышлению будущего, которое мы называем кинопрозой с её могучим синтаксисом, – тем большее значение получает в фильме работа оператора".

Сильное впечатление, которое произвела на Мандельштама одна из первых звуковых картин – "Чапаев", отразилось в стихотворении "От сырой простыни говорящая…"

С большим интересом он смотрел картину Чарли Чаплина "Огни большого города". Мандельштам очень любил и высоко ценил Чаплина и созданные им фильмы:

*А теперь в Париже, в Шартре, в Арле*

*Государит добрый Чаплин Чарли, –*

*В океанском котелке с растерянною точностью*

*На шарнирах он куражится с цветочницею…*

"Осип Эмильевич много читал. Он брал книги в университетской фундаментальной библиотеке, доступ к которой получил ещё до нашего знакомства", – пишет Наталья Штемпель. Мандельштам высоко ценил эту библиотеку и не раз говорил, что в ней можно найти редчайшие книги, которые не всегда увидишь в столичных библиотеках. Вот и ещё была радость в его жизни – общение с книгами. Несмотря на изоляцию, подневольное положение и полное неведение, чем обернётся будущее, Осип Эмильевич жил в духовном отношении активной, деятельной жизнью, его интересовало всё. Его волновали испанские события. Он начал даже изучать испанский язык и очень быстро овладел им.

Апатия была не свойственна характеру Осипа Эмильевича, чуждо было ему и желчное раздражение, но в гнев он впадал не раз. Он мог быть озабочен, сосредоточен, самоуглублён, но даже в тех условиях умел быть и беззаботно весёлым, лукавым, умел шутить.

В январе 1937 года Мандельштам чувствовал себя особенно тревожно, он задыхался… И всё-таки в эти январские дни им было написано много замечательных стихотворений. В них узнавалась наша русская зима, морозная, солнечная, яркая:

*В лицо морозу я гляжу один, –*

*Он – никуда, я – ниоткуда.*

*И всё утюжится, плоится без морщин*

*Равнины дышащее чудо.*

*А солнце щурится в краеугольной нищите,*

*Его прищур спокоен и утешен.*

*Десятизначные леса – почти что те…*

*И снег хрустит в глазах, как чистый хлеб, безгрешен.*

Но тревога нарастала, и уже в следующем стихотворении Мандельштам пишет:

*О, этот медленный одышливый простор –*

*Я им пресыщен до отказа!*

*И отдышавшийся распахнут кругозор –*

*Повязку бы на оба глаза!*

И всё разрешается замечательным и страшным стихотворением:

*Куда мне деться в этом январе?*

*Открытый город сумасбродно цепок.*

*От замкнутых я, что ли, пьян дверей?*

*И хочется мычать от всех замков и скрепок…*

Если Мандельштама не особенно угнетало отсутствие средств к существованию, то та изоляция, в которой он оказался в Воронеже, при его деятельной, активной натуре порой для него была не переносима, он метался, не находил себе места. Вот в один из таких острых приступов тоски Мандельштам и написал это трагическое стихотворение.

Как ужасно здесь чувство бессилия! Вот, на глазах задыхается человек, ему не хватает воздуха, а ты только смотришь и страдаешь за него и вместе с ним, не имея права даже подать виду. В этом стихотворении узнаёшь внешние приметы города. На стыке нескольких улиц – Мясной Горы, Дубницкой и Семинарской Горы – действительно стояла водокачка (маленький кирпичный домик с окошком и дверью), был и деревянный короб для стока воды, и всё равно люди расплёскивали её, кругом всё обледенело.

*И в яму, и в бородавчатую темь*

*Скольжу к обледенелой водокачке*

*И, спотыкаюсь, мёртвый воздух ем.*

*И разлетаются грачи в горячке,*

*А я за ними ахаю, крича*

*В какой-то мёрзлый деревянный короб…*

"В эти дни я как-то пришла к Мандельштамам", – вспоминает Наталья Штемпель. – "Мой приход не вызвал обычного оживления. Не помню кто, Надежда Яковлевна или Осип Эмильевич сказал: "Мы решили объявить голодовку". Мне стало страшно. Возможно, видя моё отчаяние, Осип Эмильевич начал читать стихи. Сначала свои стихи, потом Данте. И через полчаса уже не существовало ничего в мире, кроме всесильной гармонии стихов".

Только такой чародей, как Осип Эмильевич, умел увести в другой мир. Нет ни ссылки, ни Воронежа, ни этой убогой комнаты с низким потолком, ни судьбы отдельного человека. Необъятный мир чувства, мысли, божественной, всесильной музыки слов захватывает целиком, и кроме него ничего не существует. Чита он стихи неповторимо, у него был очень красивый голос, грудной, волнующий, с поразительным богатством интонаций и с удивительным чувством ритма. Читал он часто с какой-то нарастающей интонацией. И, кажется, это невыносимо, невозможно выдержать этого подъёма, взлёта, ты задыхаешься, у тебя перехватывает дыхание, и вдруг на саамом предельном объёме голос разливается широкой, свободной волной. Трудно представить человека, который умел бы так уходить от своей судьбы, становясь духовно свободным. Эта свобода духа поднимала его над всеми обстоятельствами жизни, и это чувство передавалось другим.

Анна Ахматова, которая навестила поэта в изгнании в феврале 1936 года, так передала своё впечатление от его жизни в известном стихотворении "Воронеж", посвященном Мандельштаму:

*А в комнате опального поэта*

*Дежурит страх и муза в свой черёд.*

*И ночь идёт, которая наведает рассвета.*

А ведь она побывала здесь тогда, когда ещё существовали какие-то связи с писательскими организациями. Мандельштам, рассказывая о приезде Анны Ахматовой, смеясь говорил: "Анна Андреевна обиделась, что я не умер". Он, оказывается, дал ей телеграмму, что при смерти. И она приехала, осталась верной старой дружбе.

"Наше благополучие кончилось осенью 1936 года, когда мы вернулись из Задонска. Радиокомитет упразднили, централизовав все передачи, не оказалось и работы в театре, газетная работа тоже отпала. Рухнуло всё сразу", – писала Надежда Яковлевна. Мандельштамы оказались в изоляции.

В апреле 1937 года Мандельштам писал Корнею Ивановичу Чуковскому: "Я поставлен в положение собаки, пса… Меня нет. Я – тень. У меня только право умереть. Меня и жену толкают на самоубийство… Нового приговора к ссылке я не вынесу. Не могу".

В апреле в областной газете "Коммуна" появилась статья, направленная против Мандельштама. Несколько позже, в том же 1937 году, в первом номере альманаха "Литературный Воронеж", выпад против Мандельштама был ещё более резким.

1 мая 1938 года в Саматихе, в доме отдыха, куда получили путёвки Мандельштамы, Осип Эмильевич был арестован вторично.

9 сентября (т.е. через четыре месяца) Мандельштам был отправлен в лагерь. На этот раз Надежда Яковлевна уже не предполагала его сопровождать. Через Шуру, брата Мандельштама, она получила письмо от Осипа Эмильевича из пересылочного лагеря под Владивостоком с просьбой выслать посылку. Она сделала это сразу, но Осип Эмильевич ничего не успел получить. Деньги и посылка вернулись с пометкой: "За смертью адресата".

Писал Осип Эмильевич много, и никакие превратности судьбы не являлись препятствием для напряжённой творческой работы, он буквально горел и, как это ни парадоксально, был по-настоящему счастлив.

**ЛИТЕРАТУРА.**

1. Аксаков А. Осип Эмильевич Мандельштам. - С.112-131.
2. Новый мир. - 1987. - №10.
3. Огонёк. - 1988. - №11.
4. Русская литература ХХ века (под ред. Прониной Е.П.). - М., -1994. - С.91-106.
5. Карпов А. Осип Эмильевич Мандельштам. - М.
6. Русская литература ХХ века (под ред. Батакова Л.П.). - М.,- 1993.